Работа учащейся 11-А класса общеобразовательной школы I-III ступени №21 Абибулаевой Бияны руководитель: Егорова О. И.

Симферополь.2001г.План:

1.Начало жизненного и творческого пути.

2.Тема свободы в творчестве.

3.Влияние Октября на поэта и его творчество.

4.Антисталинские стихи.

5. Поэт в Грузии.

6. Смерть поэта.

О. Мандельштам.

(жизнь и творчество)

«…И у звезды учись тому, что знает свет».

Мандельштам.

Осип Мандельштам прожил 47 лет. Из них тридцать были безраздельно отданы поэзии. В семнадцать лет он писал стихи, не уступающие по мудрости, духовной зрелости и свечению таланта стихам, написанным через три десятилетия. И он по праву занял свое особое место в блистательной плеяде великих русских поэтов послеблоковской эпохи, украшенной – одно за другим - именами Маяковского, Ахматовой, Хлебникова, пастернака, Цветаевой, Есенина. Отягощенный наследственной мудростью и скорбью, воспринятыми и от библейских праотцев и от великой прародительницы своей - русской поэзии, он в первых же стихах заявил не только о «глубокой печали» и «смертельной усталости», но и о «целомудренных чарах» «высокого лада» и «глубокого мира», к которым тянулся всю жизнь и которые сразу же прозрел в духовных недрах и прекрасном облике родины и человечества. Ибо он обладал редчайшим даром видеть, постигать и принимать мир таким, каков он есть, в его реальности, так, как об этом лучше всех было сказано Блоком – «Сотри случайные черты, и ты увидишь – мир прекрасен». А случайных черт было много на всем тридцатилетнем пути, выпавшем на долю поэта. Было много горя и маеты – от десятых до тридцатых годов века. В 1910 году поэт писал о «роковом и неутомимом маятнике», который «качается» над ним и «хочет быть его судьбой». Он стал его судьбой. Петербург – Крым – Грузия – Ленинград – Армения – Москва – Кама – Воронеж – Дальний Восток - это не маршруты путешественника, это – пунктир, обозначенный маятником судьбы. Но меньше всего желал поэт, чтобы часы истории остановились. Он всегда открыто и гордо шел навстречу судьбе.

Уже в 1937 году мандельштам в «Стихах о неизвестном солдате» определил свое положение в истории:

Я рожден в ночь со второго на третье

Января в девяносто одном

Ненадежном году – и столетья

Окружают меня огнем,-…

В 1920 году, уже после революции, уже испытав на себе первую недобрую раскачку маятника времени, уже миновав крымскую и первую по счету грузинскую веху своего пути, он возвращается в холодный и голодный Петербург, в «город, знакомый до слез, до прожтлок , до детских припухлых желез», в город, откуда он шаг за шагом, через бездомность и нищету начал свой путь к гибели, неизбежной для него, написавшего: «Все произведения литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух».

Ему пришлось выбирать между душой и жизнью. Спасал душу – потерял жизнь. Он предвидел это, когда в1930 году в стихотворении «Куда как страшно нам с тобой» написал:

Мог бы жизнь просвистеть скворцом,

Заесть ореховым пирогом,

Да, видно, нельзя никак.

Собственную жизнь прожить иначе Мандельштам не мог. И виной тому – поэзия: это она определила его судьбу, содержание и смысл всего, что он делал, чем он жил. Среди поэтов Мандельштам был едва ли не единственным, кто так рано мог рассмотреть опасность, угрожавшую человеку, которого без остатка подчинило себе время.

Отделять свою судьбу от судьбы народа, страны, наконец, от судеб своих современников мандельштам не хотел. Он твердил об этом настойчиво, громко:

Попробуйте меня от века оторвать!

Ручаюсь вам, себе свернете шею!

Он хотел, но не мог вписаться в этот мир, о котором сказал: «Я в мир вхожу, и люди хороши».

Судьба Мандельштама была тяжелой и несправедливой. Личная жизнь – короткой и горькой, но какова бы она ни была, не оказался поэт насильственно отброшенным в «многодонную жизнь вне закона», он и впрямь мог быть «только в ответе, но не в убытке». И даже в тяжелейшие для себя и для страны годы он не мог не очутиться естественно и закономерно на самом высоком гребне доступного ему исторического прозрения и самопостижения. Заживо погребенный, он все же прошептал, выбормотал, выговорил, прокричал, - когда как получалось и удавалось – всю правду о правде народа и человечества:

Да, я лежу в земле, губами шевеля,

Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:

На Красной площади круглей всего земля,

И скат ее твердеет добровольный.

На Красной площади земля всего круглей,

И скат ее – нечаянно раздольный,

Откидываясь вниз до рисовых полей,

Покуда на земле последний жив невольник.

И с высоты этой правды он имел, разумеется, право бросить в лицо своим врагам мужественные и суровые, скорбные и гневные, но исполненные веры и достоинства слова:

Лишив меня морей, разбега и разлета,

И дав стопе упор насильственной земли,

Чего добились вы? Блестящего расчета:

Губ шевелящихся отнять вы не могли.

О чем он говорил, «губами шевеля»? Говорил поэт о тиране и диктаторе Сталине, который своей жадностью и стремлением к власти превратил народ в лагерную пыль. Этот страшный человек заставил людей бояться всех и всего, сделал их серыми и безрадостными, злыми и жестокими.

Мандельштам, мечтавший в 1914 году – «Посох мой, моя свобода – сердцевина бытия, скоро ль истиной народа станет истина моя?», в середине тридцатых годов признавал: «Я сердцевины часть до бесконечности расширенного часа…часа грозных площадей с счастливыми глазами» и «этой площади, с ее знамен лесами» (Красной площади). Этот час звучал для него «часов кремлевских боем», оказываясь, в свою очередь, «языком пространства, сжатого до точки». И он твердо повторял – «Я в сердце века», - даже тогда, когда «время отдалило цель», но не смогло ее убить или отменить ни в жизни народа, ни в сердце поэта. И большой советский поэт Мандельштам, не споря вовсе с собой – акмеистом 1914 года, а продолжая и углубляя свой духовный поиск, заявил уже о том, что истина народа стала его истиной, что поэзия и народ встретились на пути к истине, ибо она едина и неделима, вовеки являясь достоянием всех достойных носить гордое, но ответственное звание человека.

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,

И Гете, свищущий на вьющейся тропе,

И Гамлет, мыслящий пугливыми шагами,

Считали пульс толпы и верили толпе…

И тут мандельштам подходит к краеугольной мысли своего художнического символа веры, выразив ее в великолепном поэтическом парадоксе:

Быть может, прежде губ уже родился шепот?

И в бездревесности кружилися листы?

И те, кому мы посвящаем опыт,

До опыта приобрели черты?

На языке эстетической науки этот образ расшифровывается, как признание первородства и примата жизни в ее взаимосвязи с искусством. Но как далека эта мысль от равнодушного отображательства и описательства! Она требует от поэта «шестого чувства», слуха и зрения, способных понять жизнь и ее первоистоки.

Мандельштам хотел разведать богатства мира, «понять пространства внутренний избыток». Цель этого поиска, этого артезианского бурения ясна и едина:

…Народу нужен свет и воздух голубой,

И нужен хлеб и снег Эльбруса.

…Народу нужен стих таинственно родной…

Голубое небо и чистый воздух не даются запросто и задаром. Чтоб небо было небом – нужен очистительный гром, нужно творчество. Нужны История и Искусство. И Гамлет и Моцарт:

Я скажу это начерто, шепотом,

Потому что еще не пора, -

Достигается потом и опытом

Безотчестого неба игра.

«Шепот» и «лепет», часто упоминаемые в стихах Мандельштама, а еще чаще слышные в них и, как правило, «батюшковским» вздохом облегчения звучащие вслед за сложными, многослойными циклопическими словообразованиями, вслед за девятым бушующим валом стиха, когда «бежит волна – волной, волне хребет ломая, кидаясь на луну в невольничьей тоске, и янычарская пучина молодая – неусыпанная столица волновая – крывеет, мечется и роет ров в песке», - даже этот шепот и лепет, это вдохновение, и, казалось бы, вполне самопроизвольное и непреднамеренное поэтическое бормотание и почти шаманское стиходейство у мандельштама и впрямь достигаются невидимыми нам «потом и опытом». Говоря его же словами, «он опыт из лепета лепит и лепет из опыта пьет». Безотчетная игра звездного неба и жизнью и поэзией отражаются лишь как итог и венец терпеливого труда и расчетливого созиданья:

Сохрани мою речь навсегда

за привкус несчастья и дыма,

За смолу кругового терпенья,

За совиный деготь труда…

Поэт, заявивший некогда, и не без оснований, - «язык булыжника мне голубя понятней», но знающий цену «световой паутине» и убежденный, что не хлебом единым жив человек, но и «голубым воздухом» и «снегом Эльбруса», и «таинственно родным стихом», ведал и эту тайну светоносности и лучезарности стиха:

Он только тем и луч,

Он только тем и свет,

Что шепотом могуч

И лепетом согрет.

Органичность на редкость глубокой разработки в поздней лирике и лирической этике мандельштама социально-политической и гражданской проблематики неслучайна. Сам характер мандельштамовской переклички с русским классицизмом и просветительским вольнодумием определил во многом будущее идейно-философское углубление в обогащении его поэзии. Значительнейшей вехой на пути поэта, как и на пути всей русской литературы, оказался Октябрь. Наивно и упорно звучало бы предположние, что поэт сразу и полностью постиг весь исторический смысл потрясших мир революционных событий. Но его поэзия оказалась куда ближе к блоковской, чем поэзия большинства его друзей по поэтическому цеху. Здесь точнее всего была бы параллель с Андреем Белым, с тем лишь коррективом, что Мандельштам со свойственной ему поэтической корректностью выражал мысли, которые у Белого облекались в более отвлеченные символические одеяния. По очень верному определению Николая Чуковского, автора первых после Ильи Оренбурга и чрезвычайно интересных воспоминаний о Мандельштаме и одного из первых публикаторов неизданной лирики поэта, «он приветствовал Октябрьскую революцию», которая «казалась ему Страшной, грозной, но великой, достойной прославления. И он прославлял ее». В 1918 году Мандельштам выступает со стихами, которые справедливо можно поставить в ряд с «Двенадцатью» Блока и его статьями о революции, а также с поэтическим обращением Андрея Белого «Современником». Бросается в глаза и прямая, явно преднамеренная перекличка мандельштамовского стихотворения с этим пророческим стиховещанием Белого о Земле, которая мертвым комом катилась во мглу небытия, пока в громе землетрясений не склонил к ней свой исполинский лик глаголющий Гений народа – Справедливый Судия, познавший восстанье света и за громовой полостью, застлавшей солнце, приблизивший его подлинный восход. Стихотворение «Сумерки свободы» полно частичной интервенции, чуждой мандельштаму символической образности:

В кипящие ночные воды

Опущен грузный лес тенет.

Восходишь ты в глухие годы, -

О, солнце, судия, народ.

Прославим роковое бремя,

Которое в слезах народный вождь берет,

Прославим власти сумрачное бремя,

Ее невыносимый гнет…

Земля плывет. Мужайтесь, мужи.

Как плугом, океан деля

Мы будем помнить и в летейской стуже,

Что десяти небес нам стоила земля.

Так вошел впервые – в 1918 году – в стихи Мандельштама образ народного вождяи рулевого революции – Ленина. Эта темя пройдет красной нитью через все творчество мандельштама – вплоть до последней его гражданской поэтической клятвы зимы 1937 года. Восприятие же и осмысление самой революции мандельштамом пройдет все стадии процесса, характерного для прогрессивной русской интеллигенции, принявшей революцию, оставшейся на родине,чтобы разделить с нею и радость и горе, чтобы чувствительным инструментом своего искусства помочь взбаламученному и разъяренному веку обрести вновь гармонию и лад, чтобы «флейтой-позвоночником» укрепить окровавленный становой хребет времени:

Век мой, зверь мой, кто сумеет

Заглянуть в твои зрачки,

И своею кровью склеит

Двух столетий позвонки?…

…………………………………

Чтобы вырвать век из плена,

Чтобы новый мир начать,

Узловатых дней колена

Нужно флейтою связать.

 А у горя, беды, страданий, крови, неизбежных «на пороге новых дней», которых должен бояться лишь «захребетник», то есть дармоед, живущий чужим трудом, была и другая, открывающая поэту ипостась:

Тает в бочке, словно соль, звезда,

И вода студеная чернее,

Чище смерть, соленая беда,

И земля правдивей и скромнее.

Это все те же «чернота» и «сладимость» воспетой поэтом в тридцатых годах колодезной воды, которой только и дано отразить в себе звездное свечение…

Но связь «вечных», «блуждающих снов» поэзии с новым веком, с новым миром налаживалась непросто. Поэзия, заглянувшая бесстрашно в глаза веку и готовая при всей необратимости, а главное, непоколебимости своих основных порывов и решений, не могла не испытать вместе с тем и мучительного внутреннего разлада, болезненной рефлексии. В поэзии мандельштама в 1929 году начинают мелькать образы «розовой крови» и «сухой травы», олицетворяющие образы времени и поэзии, о восстановлении нарушенной взаимосвязи которых мечтает поэт:

Чтобы розовой крови связь,

Этих сухоньких трав звон,

Уворованная нашлась

Через век, сеновал, сон.

Но в беспощадной искренности своей поэт не скрывает, что порою его посещают мысли о возможности решения дилеммы:

Не своей чешуей шуршим,

Против шерсти мира поем,

Миру строим, словно спешим

Обрасти косматым руном.

…Чтобы розовой крови связь

И травы сухорукий звон

Распростилась: одна скрепясь,

А другая – в заумный сон.

Это близкое есенинскому - «отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам» – настроение. Но оно в этом случае эфемерно и иллюзорно. Поэты остались в горящих рядах. Родной звукоряд их ждал там. Связь розовой крови и звона сухоруких трав нашлась. И через век, а не через сон, хотя бы заумный. Была боль, была болезнь, но болезнь высокая, общая с болезнью века. И поэзия продолжала свою работу, настройку лиры, поиски слова, даже если оно могло звучать против шерсти мира:

Какая боль искать потерянное слово,

Больные веки поднимать

И с известью крови для племени чужого

 Ночные травы собирать.

…Мне хочется бежать от моего порога.

Куда? На улице темно,

И, словно сыплют соль мощеною дорогой,

Белеет совесть предо мной.

Чистая совесть не позволила поэзии распроститься с порогом нового дня:

Москва – опять Москва. Я говорю ей : «Здравствуй!»

Не обессудь…»

В стихах этих, озаглавленных «1 января 1924 года», мрачными тенями маячат видения нэповской поры с ее контрастами и гримасами, но и них звучит тот летний мотив, знакомый по стихам мандельштама середины тридцатых годов («не хныкать! Для того ли разночинцы рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?»). Поэт и на этот раз подтягивает бутылочную гирьку крупно скачущих часов шероховатого времени, как бы предвосхищая свою клятву верности идеалам предшественников:

Ужели я предам похорному злословью

Присягу, данную четвертому сословью

И клятвы крупные до слез?

Москва становится для поэта средоточием и символом новизны времени, источником новой музыки, пришедшей на смену, вернее, продолжавшей звучания, к которым прислушивался Блок в октябре семнадцатого года в революционном Петрограде. И вот летом 1931 года, уже после второго своего пребывания в Грузии, после гощения в армении, вернувшись в Москву, мандельштам пишет стихи в совершенно иной, можно даже сказать, счастливой и радостной, несмотря на извечный «привкус несчасться и дыма», тональности:

Река москва в четырехтрубном дыме –

И перед нами весь раскрытый город:

Купальщики – заводы и сады

Замоскворецкие. Не так ли,

Откинув палисандровую крышку

Огромного концертного рояля,

Мы проникаем в звучное нутро?

Сравнительно большое количество стихов мандельштама приходится на 1931-1934 годы. Они, как правило, радостны или проникнуты все той же «светлой печалью2.

В 1933 году было написано стихотворение «мы живем, под собою не чуя страны», которое послужило основанием для ареста, ссылки. Обстановка в стране 1933 года обрисована поэтом с предельной точностью:

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлевского горца.

Нарисованный в стихотворении образ Сталина свидетельствовал не об уважении к «кремлевскому горцу», а о ненависти к нему. Портрет сатирически шаржирован:

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются глазища,

И сияют его голенища.

Образ «вождя» занял все пространство стихотворения, подавив, вытеснив собой все живое. Те, кто пребывает рядом с ним («сброд тонкошеих вождей»), обречены на роль «полулюдей», предающихся унизительным занятиям: «Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет». В мире, где Сталин «как подковы кует за указом указ – кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз», жить человеку невозможно, физически еще существуя, он обречен на разобщенность со страной, с людьми: «Мы живем, под собою не чуя страны…»

Вскоре мандельштам был репрессирован.

До последнего часа он оставался поэтом. И оставался в «сердце века», хотя собственный путь становился все труднее.

…Особенно угнетали долгие зимы, хотя в них были просветы – посещения анны андреевны ахматовой, оставившей нам образ одной из таких воронежских зим:

И город весь стоит оледенелый.

Как под стеклом деревья, стены, снег.

По хрусталям я прохожу несмело,

Узорных санок так неверен бег…

…И тополя, как сдвинутые чаши,

Над нами сразу зазвенят сильней,

Как будто пьют за ликованье наше

На брачном пире тысячи гостей.

А в комнате опального поэта

Дежурят страх и муза в свой черед.

И ночь идет,

Которая не ведает рассвета.

Точность не только пейзажа, но и полифонии настроений, обуревающих поэта, здесь удивительна. Ничто не случайно – ни упоминание памятника петру, ни образ ворона, ни «Куликовской битвой веющие склоны могучей, победительной земли», ни нервный бег узорных санок по оледенелому городу, ни ликованье потоков, которых муза посещала все-таки чаще, чем хотелось бы ее дежурному сменщику.

Автор предисловия к публикации воронежского журнала «Подъем» А. Немировский вспоминает эту картину очень значительными деталями: «в памяти людей, знавших Осипа Эмильевича в те годы, он сохранился прямым, с выправкой офицера (воронежские мальчишки при виде мандельштама говорили: «Генерал идет»), с гордо закинутой головой, с быстрыми движениями, с нервным профилем. Он не был угрюмым человеком. Ему были свойственны озорство и шутка… мандельштам любил Воронеж. Острым взглядом художника он подглядел его черты и запечатлел в своих стихах, стоя на горе, что над улицей Степана Разина, он любовался крутоярами, занесенными снегом и запряженными, как в сбрую, огнями домиков. И на другой день он уже читал стихи о воронежских пейзажах, которые сравнивал с картинами фламандцев. Ему нравились заречные дали, открывавшиеся с площадки, на которой стоял его домик. Вбирая полной грудью воздух, он писал: «Равнины дышащее чудо».Любил он и воронежских поэтов – Кольцова и Никитина, восторгался пейзажами в никитинских стихах»… Здесь интересно освещена одна из сторон жизни поэта в Воронеже. Как бы ни любил он Воронеж, как бы дороги ни были ему его редкие посещения ахматовой, как бы ни поддерживала его самоотверженная любовь от самого воздуха поэзии не могли не угнетать Мандельштама. Одиночество было порой невыносимо, но у поэта было противоядие от отчаяния – его «тайная свобода», его гордость и бесстрашие, «безгрешность сладкозвучного труда». Источники внутренней свободы и «наслажденье» были, однако. Не только в нем самом, не только в голосе собственного сердца:

…Гуди, помощник и моих трудов,

Садко заводов и садов.

……………………………………..

Гуди протяжно в глубь веков,

Гудок советских городов.

Та же тема варьируется в «Стансах», выраженная еще сильнее, в форме исповеди и лирического монолога, в котором «слух» поэта настроен на волну, доносящую до него отзвуки и радостных и роковых событий, вторгшихся в век, в мир, - и созидательный подвиг советского народа, и трагедию трудовой германии, стонущей под плетью гитлеровских палачей:

Я должен жить, дыша и большевея,

Работать речь, не слушаясь, сам-друг,

Я слышу в арктике машин советских стук,

Я помню все – немецких братьев шеи

И что лиловым гребнем Лореллеи

Садовник и палач наполнил свой досуг.

Есть в «Стансах» красноречивые строки, рисующие духовный контакт поэта с миром, есть и строки с раздумьем о нелепости и бессмысленности разлуки его со всем, что ему было кровно близко:

Проклятый шов, нелепая затея.

Нас разлучили. А теперь пойми –

Я должен жить, дыша и большевея,

И перед смертью хорошея,

Еще побыть и поиграть с людьми.

«Стансы» – очень значительное и знаменательное произведение мандельштама. Не случайно здесь само «пушкинское» заглавие стихов, настраивающее их камертоном «надежды, славы и добра».

В середине тридцатых годов, когда Гитлер имуссолини не только лелеяли звериные планы захвата «места человека во вселенной», но уже и обрушили свою «палицу дикаря» сначала на Абиссинию, чтобы затем опустить ее на Испанию, и тень войны готова была уже пасть на всю Европу, читатель стиха вспомнит и строфы мандельштама 1923 года, когда поэт возвысил свой голос поэта и гражданина:

Опять войны разноголосица

На древнем плоскогорье мира,

И лопастью пропеллер лоснится,

Как кость точеная тапира.

Как шапка холода альпийского

Из года в год, в жару и лето

На лбу высоком человечества

Войны холодные ладони…

И так же, как и раньше, клеймя звериный лик войны, мечтал о временах, когда люди вновь смогут дышать благородным эфиром, поэт и ныне восславил час желанного и неизбежного торжества «отверженного мира» и «оскорбленной эры».

Продолжив в 1937 году потрясающую по духовной мощи и поэтической силе тему, Мандельштам создает одно из вершинных своих творений – «Стихи о неизвестном солдате», славящие человека и человечность, клеймящие позором и проклятием звериную бесчеловечность убийц:

…Для того ль должен череп развиться

Во весь лоб - от виска до виска –

Чтоб в его дорогие глазницы

Не могли не вливаться войска?

Как он знал цену «месту человека во вселенной», счастливому небохранилищу», названному им «раздвижным и прижизненным домом». Но всегда, в самые тяжелые годы, перед лицом самой грозой раскачки «маятника судьбы» поэту было на родине «больше неба», хотя бы в том же Воронеже:

Где больше неба мне – там я бродить готов –

И ясная тоска меня не отпускает

От молодых еще воронежских холмов

К всечеловеческим – яснеющим в Тоскане.

А бродить он был готов. «Хаиды-баиды – поедем в Азербайджан!» – любил он шутить. А в стихах колдовал:

О, бабочка, о, мусульманка,

В разрезанном саване вся –

Жизняночка и умиранка,

Такая большая – сия…

Крым, Армения, Грузия были едва ли не счатливейшими вехами его путешествий.

И вставала в стихах таврида, где ему мерещились границы эллинского духа:

…В каменистой тавриде наука Эллады – и вот

Золотых десятин благородные ржавые грядки…

И снился ему Тифлис – «ковровая столица», «черноволосый и разноголосый» город. Его виденье, возникающее в «хмельной для глаза оболочке света», до конца дней будет сопровождать поэта.

И возникал Ереван, вдохновляющий поэта на одно из лучших его циклов, очень родственный ему своей суровой красочностью, своей сарьяновской статью, гордым и мужественным небогатством, то есть богатством еще большим:

…Ах, Эривань, Эривань! Не город – орешек каленый,

Улиц твоих большеротых кривые люблю Вавилоны.

О побывке поэта в Ереване крупным планом выделяется фраза из скупой странички воспоминаний Гургена Маари, значительная хотя бы по именам, называемым в ней: «Потом я еще как-то раз встретил его у Черенца. Они разговаривали о поэзии, о Есенине, Маяковском, Багрицком». А как знаменательно здесь само упоминание о дружбе мандельштама с Черенцем и каким закономерным звеном восполняет оно золотую цепь дружбы Мандельштама и Черенца с Тицианом Табидзе и Паоло Яшвели…

Грузия впервые оказалась представленной в поэзии мандельштама в облике…петербургской красавицы- грузинки Саломеи Андрониковой, которой поэт посвятил ряд стихотворений, вошедших позднее в сборник «Tristia» (Марина Цветаева писала в своем мемуарном очерке о Мандельштаме: «В книге «Tristia» стихи «В разноголосице девического хора», «на розвальнях, уложенных соломой» …принадлежат мне, стихи же «Соломинка» и ряд последующих – Саломее Николаевне Гальперн, рожденной кн. Андрониковой…»).Это та самая «красавица тринадцатого года», которую вспоминала Анна ахматова в 1940 году, связывая ее имя с именем Мандельштама:

Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,

Зачем всплываешь ты со дна погибших лет?

И память хищная передо мной колышет

Прозрачный профиль твой за стеклами карет.

Как спорили тогда – ты ангел или птица!

Соломинкой назвал тебя поэт.

Равно на всех сквозь черные ресницы

Дарьяльских глаз струился нежный свет.

Стихи, посвященные ей, датированы 1916 годом. Но нити, связывающие Саломею Андроникову, - а тем более стихи Мандельштама, - с Грузией, были, разумеется, очень тонки, если и не вполне иллюзорны. В 1917 году, вспоминая лето прошлого года, проведенное в Крыму, коктебеле, в гостях у Волошина, в дружбе с Мариной Цветаевой, предаваясь аттическим грезам, мандельштам повторял упоенно: «Золотое руно, где же ты, золотое руно?» Однако первое свидание с Колхидой, вернее, обстоятельства, ему предшествующие и сопутствующие, оказались, весьма далекими от этих романтических грез. Вновь очутившись в Крыму в разгар гражданской войны, Мандельштам был арестован врангелевцами, которые сочли его большевистским шпионом. Лишь усилия Максимилиана Волошина спасли поэта от расстрела. Из крыма Мандельштаму удалось выбраться в Батуми, где меньшевистские власти умудрились принять его уже за двойного агента – и Врангеля и большевиков – и тоже засадили в тюрьму, из которой его вызволили опять-таки поэты – на этот раз грузинские, случайно приехавшие в Батуми и прочитавшие в газете сенсационную версию о «двойном агенте». Так очутился Мандельштам в Тбилиси, где был окружен любовью и заботой своих новых друзей – Тициана Табидзе и Паоло Яшвили. В Тбилиси встетился мандельштам с Ильей Оренбургом, описавшем в своих мемуарах и эту встречу и две осенние недели 1920 года, проведенные там уже вместе и показавшиеся им «лирическим отступлением» : «Каждый день мы обедали, более того, каждый вечер ужинали. У Паоло и Тициана денег не было, но они нас принимали с роскошью средневековых князей. Никогда дотоле я не был на Востоке , и старый Тбилиси мне показался городом из «Тысячи и одной ночи». Мы бродили по нескончаемому Майдану: там продавали бирюзу в смоле и горячие лепешки, английские пиджаки и кинжалы, кальяны и граммофоны , пахучие травы и винтовки… Торговцы зазывали, торговались, расточали цветистые комплименты, клялись жизнью многочисленных домочадцев…Мы побывали в серных банях…В древних храмах мы глядели на каменных цариц, к которым ласкались барсы. Мы восхищались в духанах картинами Пиросманишвили, грузинского Руссо, художника – самоучки, который за шашлыки и вино расписывал стены погребков. Он был прост, патетичен, поражал умелой композицией и полнотой света… различные века существовали в этом удивительном городе…Все время я был с новыми друзьями, которых сразу полюбил: с Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе…Тициана и паоло любили многие русские поэты – и есенин, и Пастернак, и Тихонов, и Заболоцкий, и Антокольский. А мы были первыми советскими поэтами, которые нашли в Тбилиси не только душевный отдых, но и романтику, ощущение высоты, толику кислорода – я говорю и о горах, и о людях – нельзя ведь отделить Паоло и Тициана от окружающего их пейзажа…

Альпы во Франции - спорт, туризм, санатории, лыжи, гостиницы, рюкзаки, открытки. А без кавказа трудно представить себе русскую поэзию: там она отходила душой, там была ее стартовая площадка… Но я сейчас пишу всего-навсего о двух коротких неделях 1920 года, когда грузинские друзья пригрели и приютили нас. Друзей этих уже нет, остается поклониться горам Грузии. Яшвили и Табидзе проводили нас по Военно-Грузинской дороге до первого привала, и сейчас еще в моих ушах звучит высокий пронзительный голос Тициана: «На холмах Грузии лежит ночная мгла; шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко; печаль моя светла; печаль моя полна тобою»…»

Лиризм этих воспоминаний и их благородная элегическая тональность рождены временем – ушли годы, люди, жизнь… А тогда, той осенью, тбилиси, естественно, открылся гостям главным образом своею экзотической стороной и восточным колоритом. Это зафиксировано в воспоминаниях Эренбурга, сказавшись в свое время и в знаменитых стихах Мандельштама, написанных по возвращению в Россию в том же 1920 году:

Мне Тифлис горбатый снился,

Сазандарей стон звенит,

На мосту народ толпится,

Вся ковровая столица,

А внизу Кура шумит…

Стихи эти, и вызвавшие их воспоминания долго жили в душе поэта и обогащенные новыми впечатлениями 1930 года, дали через семнадцать лет, при обстоятельствах куда менее счастливых, удивительные выходы. А в 20-х годах они продолжали звучать все так же озорно и ликующе, о чем поведал в своей новой, воистину волшебной прозе Валентин Катаев, назвавший эту прозу, как бы аукнувшись с мандельштамовским образом колодца, отражающего под Рождество семиплавниковые звезды, - «Святым колодцем».

Мандельштаму снился в Москве Тифлис, а Катаеву – Мандельштам и его стихи о Тифлисе и фантасмагория вызванных этим сном видений разных лет, взаимопереплетенных и сфокусированных в этой лучшей точке земного шара: «… Этой ночью мне долго и сладко снился Осип Мандельштам, бегущий в дожде по Тверскому бульвару при свете лампионов, мимо мокрого чугунного Пушкина со шляпой за спиной, вслед за экипажем, в котором я и Олеша увозили Надюшу. Надюша – это жена Мандельштама, Надежда Яковлевна… Мы увозили ее на Маросейку угол Покровского бульвара, в пивную, где выступали цыгане… У нас это называлось : «поедем экутэ де богемьен». Мы держали Надюшу с обеих сторон за руки, чтобы она не выскочила сдуру из экипажа, а она, смеясь, вырывалась, кудахтала и кричала в ночь: - Ося, меня умыкают! Мандельштам бежал за экипажем, детским, капризным голосом шепелявил несколько в нос: - Надюся, Надюся…Подождите! Возьмите и меня…Я тоже хочу экутэ!… А мы вместо того, чтобы ехать на Маросейку угол Покровского бульвара, почему-то ехали в грузинский ресторан… шел дождь, и мы все-таки втащили Надюшу за руки на второй этаж в отдельный кабинет… сюда нам принели бутылочку «телиани», а как только его принесли, тотчас появился мокрый и возбужденный Мандельштам, прибежавший по нашему следу, и он сейчас же начал с завыванием и очень внушительно – «как Батюшков Дельвигу»! – читать новые стихи, нечто вроде:

Я буду метаться по табору улицы темной

За веткой черемухи в черной рессорной карете,

За капором снега, за вечным за мельничным шумом…

И так далее – можно проверить по книжке мандельштама, если ее удастся достать, - мне именно так и приснилось: «если ее удастся достать», а Манднльштам моего старого сновидения тем временем сел пить «телиани», вспомнил гористую страну и, шепеляво завывая, стал вкрадчиво и вместе с тем высокомерно, даже сатанински-гордо декламировать о некоей ковровой столице, раскинувшейся над шумящей горной рекой, и о некоем духанчике, где «вино и милый плов»…»

В мае 1938 года Мандельштам был вторично арестован и осужден на пятилетний срок. В середине октября он попал на пересыльный лагерь3/10 «Вторая речка» под Владивостоком. Смерть пришла к нему в сталинских лагерях. Он был репрессирован за стихи, уничижительно рисовавшие Сталина. Но даже если бы не было антисталинских стихов, мандельштам все равно был бы уничтожен – сам строй его мышления не вписывался в идеологию построения коммунизма. Точная дата и обстоятельства гибели Осипа Мандельштама многие годы были неизвестны. В книге воспоминаний вдова поэта Надежда Мандельштам приводит ряд версий на этот счет.

«В июне сорокового года брата осипа Мандельштама, Шуру, вызвали в ЗАГС Бауманского района г Москвы и вручили ему для меня свидетельство о смерти Мандельштама. Возраст – 47 лет, дата смерти – 27 декабря 1938 года. Причина смерти – паралич сердца.

По сведениям Хазина(сидевшего в том же лагере, что Мандельштам) Мандельштам умер во время сыпного тифа.

По рассказам другого лагерника, Казарновского, Мандельштам умер так: 2Однажды, несмотря на крики и понукания, Мандельштам не сошел с нар. В те дни мороз крепчал…Всех погнали чистить снег, а Осип остался один. Через несколько дней его сняли с нар и увезли в больницу.

Вскоре Казарновский услышал, что мандельштам умер и его похоронили, вернее, бросили в яму… Хоронили, разумеется, без гробов, раздетыми, если не голыми, чтобы не пропадало добро, по нескольку человек в одну яму – покойников всегда хватало, - и каждому к ноге привязывали бирку с номерком».

Некто Р., тоже поэт, приводит третью версию гибели поэта.

«Ночью, рассказывает Р., постучали в барак и потребовали «поэта». Р. испугался ночных гостей – чего от него хочет шпана? Выяснилось, что гости вполне доброжелательны и попросту зовут его к умирающему, тоже поэту. Р. застал умирающего, то есть Мандельштама, в бараке на нарах. Был он не то в бреду, не то без сознания, но при виде Р. сразу пришел в себя, и они всю ночь проговорили. К утру Мандельштам умер, и Р. закрыл ему глаза. Дат, конечно, никаких, но место указано правильно – «Вторая речка», пересыльный лагерь под Владивостоком.

И, наконец, по свидетельству физика Д., мандельштам скорее всего умер в изоляторе в период между декабрем 1938 г. и апрелем 1939 г.

Только в 1989 г исследователям удалось добраться до личного дела «на арестованного Бутырской тюрьмы» Осипа Мвандельштама и установить точную дату смерти поэта. Он умер 27 декабря 1939 года в 12.30, а похоронили уже в начале 1939 года.

\*\*\*

Лишь в середине 1960-х годов начался медленный процесс возвращения стихов Мандельштама читателю. Вся его поэзия содержит удивительные прозрения, драматические и трагические ноты звучат в его стихах, говорящих не только о трагедии личности, но и о трагедии судьбы народа, целого поколения:

Помоги, Господь, эту ночь прожить,

Я за жизнь боюсь, за твою рабу…

В петербурге жить – словно спать в гробу.

Молитва, обращенная к Господу, жизнь ему сохранить не смогла, а душу он уберег.

Список использованной литературы:

О. Мандельштам. Стихотворения(«Библиотека поэта, Большая серия).

«Вопросы литературы»

Семенко И. М. Поэтика позднего О. Мандельштама (от черновых редакций к окончательному тексту). Москва, 1986

О. Мандельштам. Собрание сочинений в двух томах. Москва, «Художественная литература», 1990.

Лукьянова Е. Г., Лукьянов С. А. «Интегрированный курс литературы» 2001г.

«Тысяча и одна смерть». Издательство «Вагриус», 1995 г.